

**Николай
ТАЛЫЗИН**

г. Саратов

РЫБАК

рассказ

В последней оставшейся в городе конюшне умирал старый конь. Ребяшня, всегда узнающая всё вперёд других, узнающая с подробностями, уже обсуждала эту скорбную для целого города весть. Ведь умирал не просто конь – умирал Рыбак.

Закончилась Великая Отечественная война. Здесь, на севере, войны не было. Но шахты построили именно из-за войны и в те военные годы. Нужен был уголь воюющей стране. И восстанавливающейся Родине тоже нужен. Много народному хозяйству надо было угля. В начале пятидесятых построили свою ТЭЦ, решили вопрос электрификации шахт. И тягловая лошадиная сила под землёй стала не нужна. А кони остались.

Часть конного парка продали на мясо. Как говорили мальчишки, «татарам на колбасу», хотя и сами аппетитно уплетали полукопчённую конскую.

Другая же часть коней была предназначена для работы на поверхности. Но большинство их на солнечном свете слепло и погибало. Опять же вездесущие пацаны утверждали, что это происходило из-за тупости начальства: надо было глаза животным завязать и постепенно приучать их к солнцу. А ещё лучше выводить их из шахты зимой, в полярную ночь.

Но, как бы то ни было, из всех животных-работяг остался только один конь светло-рыжей масти с ещё более светлыми гривой и хвостом, небольшого росточка, с мохнатыми толстыми и сильными ножками. Кликали его, кроткого, но работающего, Рыбаком.

Мальчишеские слухи утверждали, что, по рассказам достойного уважения и авторитетного конюха, правда слегка выпившего, тот Рыбак был монгольской породы. Что малочисленный, но дружественный нам монгольский народ в годы войны помогал советской стране чем мог. Что Рыбак оттуда, из монгольских степей. И ещё, конюх рассказывал, у Рыбака есть медаль. Настоящая – человеческая, а не та, что дают на выставках и соревнованиях. И ещё конюх рассказывал кучу других историй и небылиц, покуда не набирался до отвала. Закрыв предварительно конюшню, уважаемый падал на телегу и лишь иногда мычал и стонал во сне.



Я тоже иногда бывал на этой конюшне. Даже несколько раз сидел верхом на впряженных в телегу лошадях. Затем бродил с мальчишками по конюшне, заглядывал в стойла. Рабочие нас не прогоняли до тех пор, пока кто-нибудь не набедокурит. А когда это случалось, выгоняли, строго прикрикнув, но не зло так, для порядка. Мы шли к берегу реки за конюшню. Там на огороженной жердями поляне помоложе и покрепче конюхи приучали и укрощали молодых жеребцов. Там же на пароме перевозили сено через реку. И там же был чистый воздух с запахами воды, тины, сена и конюшни.

Заканчивалось наше посещение тем, что мы догоняли попутную телегу, запрыгивали на неё и ехали ближе к дому. Возница нас не шугал, даже внимания на суетящихся и гомонящих ребят не обращал.

А на следующий день, возвращаясь из школы, мы вновь встречались с нашим любимцем Рыбаком. Увидев мальчишек и девчонок, конь радостно фыркал, кивал большой головой, часто жевал удила и старался высоко и красиво занести передние неуклюже толстые, натруженные ноги. Ребяшня радовалась не менее старого коня и весело, с визгом, сломя голову возвращалась назад к школе. Рыбак со старым конюхом привозил в школьный буфет обед для второй смены.

Конюх отстёгивал удила, вынимал изо рта нашего любимца издевательскую, как нам казалось, железку и шёл разгружать термосы и ящики. А пацанва забавлялась и угощала Рыбака. Кто скармливал ему свой завтрак, кто дёргал с газона травку, а кто бежал в буфет за булочкой по три копейки. Рыбак позволял делать с собой всё что угодно. Его гладили, чесали, осматривали старые полустёртые зубы, поднимали поочерёдно ноги, разглядывая подковы на копытцах. Самых маленьких сажали верхом. Кто постарше – на Рыбака не садились: уважали его преклонный возраст. Рыбак всё стойко переносил, лишь изредка фыркнет и подаст назад. Тут же находили «виновника» и прогоняли прочь от коня. Затем выходил старый конюх, и они с Рыбаком уезжали. На телегу никто не садился: тяжело маленькому пожилому коню. Мы шли на остановку автобуса и продолжали перерассказы-

вать друг другу всякие небылицы про Рыбака.

Я не очень-то верил во все эти слухи, хотя и любил Рыбака по-детски искренне. Но однажды увидел Рыбака в первомайской колонне демонстрантов. Кроме него там были ещё лошади: и моложе, и стройнее, и красивее, и... Но Рыбак приковал моё внимание, остальных я просто не замечал. Шерсть на нашем любимце лоснилась, грива и хвост были украшены цветными шёлковыми лентами. А главное, на груди на красном бархатном фартуке-нагруднике красовались две медали. Они переливались и сверкали на ярком весеннем солнце. Одна, я её не рассмотрел, из белого металла с непонятным изображением. Сколько теперь ни силюсь, не могу восстановить в своём воображении её вид. Зато другую я запомнил навсегда: с профилем И.В. Сталина и чёрно-оранжевой лентой. Даже орден на груди моего отца не мог сравниться с этими медалями! Я ликовав: Рыбак – герой! Наш любимый конь – герой труда!!! Рыбак на демонстрации в одном ряду с нашими заслуженными горожанами! В этот первомайский день я поверил всем рассказам о Рыбаке, какими бы неправдоподобными они не казались мне раньше.

Шли годы. Мы росли, а Рыбак старел, дряхлел. Настало время, когда он не мог уже и обеда возить в школу. Мальчишки иногда его навещали, ласкали и разговаривали со старым конём. Он стоял в своём стойле, смотрел на нас большими мутными и грустными глазами и лишь изредка кивал огромной головой.

Ребята оставались в конюшне, смотрели других лошадей. А я выходил во двор. Полупьяный старый конюх, задав корм лошадям, садился со мной на телегу и рассказывал... Рассказывал о своей нелёгкой жизни, о лошадях и, конечно же, о Рыбаке.

Понимаешь, говорил мне, сынок, утром выводим своих коней запрягать, а Рыбак в стойле. У него почётное место. На пенсии он, заслуженно отдыхает. Но нет же! Ржёт, аж в груди у него клокочет. Вырвется из стойла, он же не привязанный стоит, бредёт к телеге, становится меж оглобель и ждёт. С места его не сдвинешь, пока не запряжёшь и не пройдёт он, волоча телегу, пару кругов вокруг конюшни. Только тогда, распряжённый, сам уходит

в своё стойло. Стоит и прямо плачет. Сил у него нет, а работать хочет. Не может он не работать. Он конь рабочий. Вот такие и люди есть, рассказывал старый конюх, достав из бездонного кармана плаща-балахона перочинный ножик, которым тщательно и аккуратно обивал сургуч с горлышка очередной бутылки «Московской». Помрёт скоро Рыбак, заканчивал старик, вдруг, часто-часто заморгав, отвернулся и посмотрел высоко вдаль, куда-то за реку, за лес, за горизонт.

А через некоторое время среди вездесущих мальчишек пошёл слух: Рыбак умер. И другой, нелепый и жестокий: продали Рыбака татарам на колбасу. Но вторую сплетню сразу же отвергли: такого не может быть никогда, потому что быть не может. Говорили, что умер Рыбак после очередного круга, протащив свою телегу по двору. Пришёл в своё стойло и умер. Умер на своём трудовом посту.

Говорили, и даже находились очевидцы и участники, что на пароме старый конюх перевёз Рыбака на другой берег реки и похоронил на лугу у леса. Говорили, что на его могиле поставили памятник с красной звездой и надписью: «Рыбак. 1940–197_». Говорили, и даже находились свидетели, что за могилой ухаживают все рабочие конюшни и жители близлежащего посёлка. А старый конюх уволился на пенсию, и никто не знает, где он сейчас.

Я приходил один, без ребят, на берег реки у конюшни. Поднимался на самый высокий бугор и всматривался вдаль, на другой берег. Луг просматривался до опушки леса. Но памятника я не видел. Но мне так хотелось, чтобы он там был – памятник коню – герою труда. Просто я его не нашёл. А он есть... Со звездой...



рассказ

Стали нас в школе в детский хор записывать. Мне не сильно это занятие-мероприятие нравилось, орут толпою. Вот бы каждый по отдельности пел. Тут бы и видно-слышно было, кто поёт, а кто подвывает.

Вот я, когда один, дома нет никого, пою хорошо, громко, даже красиво. А если на уроке пения вызовут к пианино, то «ни бе ни ме», «ни до-ре-ми!» Стесняюсь, наверное...

А тут этот самый хор стали собирать. Из Дома культуры тётка с дядькой пришли. И так красиво и культурно – из Дома культуры же! – стали нас уговаривать. Вы, мол, сегодня, можно завтра, после уроков заходите к нам в ДК за сцену. Будем вас заслушивать. Иль прослушивать... Короче, я так понял, мы бу-

дем по одному петь, а они слушать и решать, годен в хор или нет.

Да не пошёл бы я в этот хор несчастный ни за что! Нужен он был мне тысячу лет! Но купился на синюю жилетку. Тётка та из Дома культуры, она говорила, как её зовут, но я запомнил, так она говорила, что, когда споёмся, мы пойдём во Дворец культуры на городской смотр. Затем, конечно, поедем в соседний город на какой-то конкурс хоров. А коль и там споём громко и красиво, то нас пошлют на республиканский фестиваль. Во как! Вот это да!.. А для порядка, нарядности и красоты всем хористам пошлют синие жилетки с блёстками!!!

И последним они меня купили. Я как-то в Доме культуры видел хор взрослых, так там все женщины были в сарафанах, а дяденьки в жилетках с блёстками, только в красных. А нам синие обещали. Жилетки синие с блёстками! Вот это класс!

Ходил я два дня после школы в Дом культуры на прослушивание. В первый день с волнением не справился, застенялся. Всех товарищей-одноклассников пропустил вперёд по очереди, и на меня времени не хватило.

На следующий день я уже всё знал со слов друзей-хористов, почти не стеснялся. Настроился на прослушивание, стало быть, не волновался. А когда завели в кабинет, который (ну, кабинет этот, конечно!) почему-то студией называли, я по команде тётки громко проорал: «По долинам да по взгорьям шла дивизия вперёд!..»

А дяденька бегал взад-вперёд вдоль студии от стенки к стенке и командовал: «Чуть пониже!» Ну куда ниже-то? Я и так небольшой, по росту в классе всего три мальчишки меньше меня. «Несколько потише, но почётче...» И я опять, напрягая горло, что есть мочи выдавал экзаменаторам: «Но от Москвы до британских морей Красная армия всех сильнее!..»

Посовещались работники Дома культуры. Дяденька кучу непонятных слов наговорил, из которых я только названия некоторых нот понял. А что и как делать? Петь-то как мне? Бог их знает... Но... приняли. Ура! Будет у меня жилетка синяя! Да с блёстками!

Стали мы ходить на хор по три раза в неделю. На дом задавали учить слова новых песен.

Часть их я уже знал, другие нередко слышал по радио, потому выучить не составляло труда. Кое-кто из ребят не выдержал репетиций и ушёл из детского хора. Наши руководители подвели итог: коллектив сформировался, спелся, скоро городской конкурс, пора бы и жилетки заказывать. И сказали, что через две-три репетиции вызовут портного мерки с нас снимать. Наконец-то так близка моя мечта, не зря глотку драл!

А зима лютовала! Метели да заносы. Часто автобусы застревали, и нам приходилось несколько километров брести из школы или Дома культуры пешком через огромные сугробы. Север нас не щадил. А тут и морозы подоспели: когда минус сорок, а то и за пятьдесят жмёт!

Спросите вы: чего это я начал про хор детский рассказывать да про жилетку синюю, а теперь про морозы и пургу заговорил? А вот почему: простыл я, заболел... И пропала пропадом моя мечта. Пока я глотал пилюли, жарился под горчичиками, полоскал горло да ноги распаривал, приходила в хор портниха, сняла со всех певцов мерки и сладила каждому по жилетке. Как заказывали: синие с блёстками. Всем-всем пошила, а мне нет. Болел я...

Из хора меня не прогнали. Но поставили в самый последний ряд с краю. Пел я уже тише, ниже, а иногда вовсе еле раскрывал рот. Случалось, что и раскрывать-то забывал, лишь мечтал о чём-то. О жилетке думал, о конкурсах и фестивалях...

В конце недели руководительница объявила: «В воскресенье приходите с утра, пойдём на городской смотр. А тебе не надо приходить».

Я всё понял, ведь у меня нет... нет же жилетки. Синей. С блёстками...

Нет, я не заплакал. Я же мужчина. Слёзки просто сами закапали...

Раз не надо, сказали, приходить на городской смотр, я и не пошёл. И вовсе не стал ходить на этот гадский хор. Пусть сами горлопанят толпой, раз они в жилетках. А я... А я и так без вашего хора проживу. Не судьба мне быть Шаляпиным...

На следующий месяц в Доме пионеров я записался в шахматный кружок. Подумалось: быть может, как гроссмейстер Смыслов, чемпионом стану. Пусть и без жилетки...



Вот ведь говорят, что была хрущёвская оттепель... А я по малолетству её не помню: я жрать хотел!

Начало шестидесятых. Для молодёжи это тёмный лес! Да и для более старшего возраста дела давно минувших лет... А пройдёт ещё десяток-другой годков, кто вспомнит? Было что? И вообще, что же там было? Вот для того, чтоб хоть что-то вспомнилось и запомнилось, я расскажу маленькую историю из своего детства. Даже не историю, а так — эпизод.

Дело было в приполярной Инте. Был такой и пока ещё есть — надолго ли? — небольшой шахтёрский городок между Воркутой и Печорой. С географией разобраться недолго.

А вот хлеба нам давали на семью так: полбулки чёрного и полбулки белого, а если батон берёшь, то плюс только полбулки чёрного. И не важно, сколько в семье едоков. Семья, и всё тут! Молоко тоже привозили, но когда по три литра начёрпывали продавщицы из алюминиевого бидона, а когда по два... Если не успел занять очередь, то, значит, и не хотели твои детки молочка-то. А бидончики эмалированные помните? С крышкой скользящей и звенящей.

Классно было с ними по сугробам и гололёду. Вся тропка от магазина молочная...

Так вот, я про хлебушек-батюшку. Батя мой, шахтёр-проходчик, а потом и вовсе — посадчик. Такую профессию только старые горняки и знают. Ну и ладно, молодым это не надо, они в шахту не стремятся: менеджеры и юристы поголовно... Однако отцу в шахту тормозок требуется. Ах да! Вам же ещё надо растолковать, что такое тормозок. Это харчи шахтёрские, «ланч» по-теперешнему. В лаву под землю в то время обеда не доставляли...

Так и приходится отвлекаться от рассказа. Продолжим-таки. Берёт батя тормозок: пару ломтей хлеба. Представь, что от полбуханки хлеба отмахнуть два ломотка — что останется? А ещё он перед работой позавтракал. А потом усталый и голодный, как последний зверь из тундры, только из-под земли, от чертей, почти из ада поднимался на поверхность...

А нас сперва двое было у родителей, а потом и ещё братишка родился. Как вам на две половинки пять ртов? Оттепель... Голодуха!

И промеж ломтей в тормозок надо бате что-то положить, однако. Когда масло, если повезёт и мать отстоит с нами в очереди. Чаще — маргарин или смалец. Вот и опять-таки для молодых приходится объяснять: смалец — это свиной топлёный, часто присоленный, жир. После Нового года бабушка с Дона посылку присылала с солёным салом, сальтисоном, куриными яичками.

А у нас, на севере, яиц не было. К Пасхе собирались улицей и за несколько тысяч километров командировали двух-трёх хозяек в столицу. Те скупали по паре ящиков яиц. Встречали улицей, распределяли по семьям и компенсировали расходы. Выходил русский северный бизнес: три-четыре цены. Но по десятку-полтора нам яйца красили. Хотя и отцы были коммунистами, а мы пионерами и комсомольцами впоследствии. Так что врут теперешние «демократы» и «либералы»: красили яйца и на Красную Горку катали их по ещё не освободившимся от снега пригоркам! Врут, как бывший комсомольский вожак утверждаю! И «битлов» слушали, и ни один вечер в школе без «Шезгарес» и «Роллингов» не проходил. И «Дип Пёпл» пласты имели. За выпивку и куриво на комитет комсомола вызывали, напевая

«Гёрл» и «Лоретби»... Простите за транскрипцию, но старые рокеры меня поймут.

Опять отвлёкся, всё это было на семь-девять лет позже, а пока — «хрущёвщина». В России, на Украине короче, на Большой земле было несколько легче. Там хоть и испортился хлеб, стал «Забайкальским», но он был. Были подсобные хозяйства, огороды, бахчи, уже немало рабочих имели дачные участки. Имелись и колхозные рынки... Они тоже как-то помогали. У нас в тундре не было ничего: ни дач, ни подсобных приусадебных хозяйств, ни рынков-базаров. Если северный бог смилуется, то даст за лето пару «окон», чтоб грибов и ягод чуток собрать... Лето здесь короткое, зато малоснежное. А когда ещё выбраться отцу: была шестидневка. В единственный выходной предстояло дров запастись-наколоть, угля в сарай привезти-перекидать.

Как было сложно маме нас накормить: отец возьмёт тормозок. Поднимется на-гора, опять надо кормильцу семьи что-то на стол подать... Эх! А хлеба давали по полбулки белого и полбулки чёрного... Основная еда для нас была каша: пшённая, пшеничная, по праздникам гречневая. Если молока полный бидон нальют, то с молоком, а если давали два или полтора литра, то только на блины. Мука какая есть, о белой только мечтали. В варенье помакали, тем и сыты.

Теперь чуток о варенье, масле и мёде. Да и о сухофруктах. Летом в городе оставалось мало народу. Все, кто мог, уезжали на юг, в Россию. Оттуда волокли вёдра вишнёвого, абрикосового варенья, мёд, сухофрукты. Что не могли унести и увезти, отправляли посылками, благо почта работала исправно. Теперь представьте: старший мой брат двенадцати лет тащит по Комсомольской площади от метро к Ярославскому вокзалу два ведра варенья! А в ведре-то килограммов по пятнадцать-восемнадцать! Автор этих строк с пятилитровым бидончиком мёда, это тоже около восьми килограммов, рюкзак и ещё сумчонка... Про родителей вообще молчу: верблюды выючные завидовали! Тем потом и жили...

Мой брат старший до сих пор масло сливочное не ест. Как-то мы были у бабушки с бабушкой на Дону. Выстояли тоже очередь, благо родственников тьма: взяли на всех почти полную коробку масла. Кто не знает или не помнит: в коробке двадцать килограммов масла. С хлебом на Дону

было полегче. Взрослые ушли в гости к кому-то, а нас с братишкой оставили с белоснежной булкой пшеничного хлеба и коробкой масла: «Ешьте сколько хотите!» А до этого мы с братишкой кабанчика объедали: дедушка напарит дерти поросёнку, мы с ложками под крыльцо, где свиные варевы стынет. Соскрёбём ость с мякиной и лопаем. Так-то. А вы: «Оттепель хрущёвская...»

Вернёмся к коробке масла. Я наелся быстро, много ли надо в пять-то лет! А брат ел долго и много. С запасом на всю жизнь: до сих пор не ест масло сливочное. Да его и не стало совсем почти. Маргарин, который стали называть спредом. Слово непонятное, а продукт и подавно чудный. Раньше было понятие, с войны от немцев пришло, «эрзац»¹. Эрзац-кофе, эрзац-масло, эрзац-шоколад... Суррогат, значит, ненатуральное. Теперь не только суррогатный эрзац-продукт в нашем рационе, вся жизнь суррогатный эрзац...

Мой сегодняшний рассказ о розовом прянике. Так я его хотел попробовать! Обещаю, дойдём мы до пряника, впрочем, попробуем ли? А тогда так хотелось! Пряник необычный, розовый...

Следующее маленькое отступление: почему мой брат не любит мармелад. Это история уже о послехрущёвском времени. Ушла власть родителей, якобы «оттепели», стало как-то и несколько легче. Кое-что на прилавках стало появляться. Мама купила коробку трёхслойного мармелада накануне какого-то праздника. В коробке сладостей всего-то три слоя, разделённых калькой — бумагой такой. Ну, три-четыре килограмма... Я до сладостей не очень охоч, а старший братишка ел досыта. На десятилетие вперёд наелся: до сих пор воротит его с мармелада.

Что-то совсем я отвлёкся от своего розового пряника. А как же! Надо в суть дела ввести, ведь не каждый знает, что такое сальтисон, эрзац, дерть, камерон... Всё я растолковать не смогу, а камерон на пути ещё встретится, когда за пряником розовым двинемся...

Мороз прёт за сорок! Нередко и далеко за пятьдесят. А то метель-пурга поселится на недельку-две, лишь трубы печные от барачков торчат из-за сугробов. Глянешь в окно, а там серость: лёд на пару сантиметров поверх стекла и снег, снег, снег...

¹ Эрзац — заменитель.

Соседка тётя Нина рано утром уходит заниматься очередь за хлебом и молоком. Продавцы хоть и знают все семьи нашего шахтёрского посёлка, но возможно, что всем и не хватит продуктов. Как завезут. Как роторные снегоочистители и грейдеры дороги пробьют к нам, сколько хлебозавод продукции выделит. Мама печку топит, старшего брата в школу собирает, а меня, пяти-шестилетнего, в магазин к тёте Нине в очередь за хлебом-молоком с бидончиком и авоськой. Вот опять как теперешней молодёжи рассказать, что такое «авоська»? Сейчас с пакетами из магазина выходят, а тогда как бы из сетки сумка была авоська.

Ползу по сугробам, благо маленький и лёгкий: глубже, чем по пояс, не проваливаюсь. Возле камерона наледь высотой под два метра. По льду надо ещё умудриться взобраться, а потом спуститься. Когда в магазин идёшь, то на заднице съезжать даже весело. А вот когда домой с молоком... Тут не каждому удавалось пройти, не пролив дефицитного продукта. Скандал дома гарантирован!

А почему камерон? А хрен его знает. Уже позже во взрослой жизни я узнал, что был с таким именем британский инженер. Может, в честь его? А у нас камерон и камерон. Большой сарай, из которого выходила огромная труба, или мне по малолетству так казалось, из неё брали воду водовозы. А ниже патрубков меньшего размера, там жители вёдра наполняли. Труба камерона никогда не замерзала. Что там в сарае было, я не знаю. Позже благодаря прогрессу и росту благосостояния по всему посёлку поставили кирпичные будки-колонки, отапливаемые электротэнами. Но в большие холода они всё же перемерзали. А камерон закрыли, позже снесли. С водоснабжением стала беда. Наши отцы и паяльными лампами грели, и кипятком с солью отливали замороженные колонки...

Восьми утра ещё нет, солнце вообще через несколько месяцев появится. А я иду в очередь к тёте Нине. Они, жёны шахтёрские, на морозе стоят, магазин ещё закрыт. Подойду я, когда нас уже в барак запустят, в котором магазин-то наш. Полбулки белого, полбулки чёрного и два-три литра молока. Молоко на блины... А батя из шахты поднимется. Что ему блины? Как коту мухи: ему жрать надо. Хорошо, если

бабушка сала пришлёт, будет что ему на тормозок взять... А если батон берёшь, то только полбуханки чёрного на семью и всё...

Когда я в магазин собираюсь, то не хнычу, но ползти по сугробам охоты нет. Мама иногда для стимула или из жалости немного копеек даст на карамельки-подушечки. Они без обёрток, без фантиков продавались. А я больше любил кизилловые подушечки в коробке картонной. Они были «голенькие», то есть не осыпанные сахарным песком, и кисленькие. Кизилловые ведь. И ещё в коробочке! Это не то что в газетный клочок продавщица насыплет с сахарной пылью пополам. Однако стоили они дороже... Не всегда мне столько копеек давали. Я копил медяки, но предприимчивостью не отличался, впрочем, как и теперь: то брат что-то задумает, надо ему помочь. То сам на тетрадку, книжку или карандаш потрачу...

А тут в магазине появились розовые пряники. Обычные иногда бывали, а эти огромные и розовые! Продавались поштучно. Но дорого, аж по пятнадцать копеек! Почти как пирожное в кинотеатре. Про кинотеатр и его буфет как-нибудь потом расскажу, а сейчас про пряник про розовый. Вообще-то, я пряники не любил, но этот не простой – розовый!

Кому-то «оттепель» Хрущёва, а я жрать хотел! Жрать хотел мяса, сыра хоть крошку... А тут по полбуханки хлеба... Морозище! За ночь сгорает по несколько вёдер угля в печке, но всё равно плитуса в инее. Вокруг бараков горы шлака и мусора, дымятся, пока не провалятся под многометровые сугробы. Пойдёшь в сортир, а задницу подтирать не надо: примёрзло, однако... Утром умываться, а в рукомоинке сосок не шевелится: заледенел.

Был ещё ход с продуктами: съездить на станцию. Там железнодорожное снабжение чуть лучше. Иногда выкидывали тушёнку, сгущенку, мясо настоящее. Но это около двадцати километров на автобусе с пересадкой. И никакой гарантии, что будут продукты. Да и не одни мы такие умные, и там очереди.

В этот день у мамы не было медных монет. Она мне дала на конфету аж пятнадцатикопеечную. Это же как раз на мою мечту – на розовый пряник!

Пролетел в считанные минуты до магазина, да-

же ледяную горку камерона не заметил. Рановато прибежал, пришлось стучать коленями и ладошками, пока в магазин запустили. Но и там только что печку растопили, зябко очень-очень. Пока хлеб разгрузили, молоко подвезли, ждали, когда горловины фляг оттают, чтобы открыть их. Ещё немало прошло времени в очереди. Наконец-то я и хлеб, и молоко купил да выдвинулся в обратный путь. Дорога скользкая, как бы молоко не пролить... И вдруг нащупал в варежке монету. Ах же, пряник! Забыл!!! Не купил... Розовый...

Стою на обледеневшей тропе между магазином и камероном, носом шмыгаю, плакать начать боюсь: в одной руке бидончик с молоком, в другой авоська с хлебом. Заплачу, слёзы замёрзнут, а вытереть нечем, руки-то свободной нет. Возвращаться назад боюсь, вдруг поскользнусь, молоко пролью. Вон уже кто-то расплескал...

И тут, как мне тогда казалось, моё спасение.

— Чего хлюпаешь? Что случилось? А? — мальчишка на пяток лет меня старше. Я и звать-то его как не знаю. Помню, что у него обидная кличка, но скажешь, непременно в ухо получишь. Тут уж точно молоко не донести...

— Пряник розовый за пятнадцать копеек забыл купить... — шмыгаю промёрзлым, хоть и укутанным в шарф носом.

— Давай свою копейку! Жди! Я мигом! — и побежал. — Жди, я сейчас!

Жду. Промёрзли ноги в валенках. Руки заскорузли, еле бидон и авоську держат. Вернулся в магазин. Очереди уже нет, кончился хлеб. А на витрине красовались — вон они! — розовые пряники... Мальчишки, моего «спасителя», не было нигде...

Молоко я донёс. И хлеб тоже.

Есть не стал. Ни в завтрак, ни в обед. Долго сидел в углу на диване, ни с кем не разговаривал, якобы книгу читал. Но не плакал. Слёзы сами текли...

Что было потом? Потом эта сучья «оттепель» хрущёвская закончилась. Я пошёл в школу, наступило время относительного благополучия, которое теперь называют «застоем». Голодное время закончилось, хоть изобилия и не стало. До сих пор, кстати...

А пятнадцать копеек? Тот мальчишка? Через несколько дней старший брат выведал мою обиду. Пятиалтынный вытряс с воришки: очень жёстко, даже жестоко. Он, мой брат, и сейчас сильный и не такой добрый, как я. Хотя у него мирная профессия — электромеханик. А я, как бы наоборот, военное окончил когда-то.

А розовый пряник? Вкусный? Не знаю. Не пробовал... Я сладкое не особо люблю. Он так и остался детской завистливой мечтой и воспоминанием о хрущёвской оттепели, будь она неладна...

□

Николай Юрьевич ТАЛЫЗИН

родился в 1958 году в Цимлянске, вырос в городе Инта (Коми).

Окончил Саратовское высшее военное инженерное училище химической защиты.

Пишет рассказы.

Публикации состоялись в журналах «Урал», «Изба-читальня», а также в других периодических изданиях.

Лауреат литературных конкурсов, в том числе «Русский Гофман-2018».

Победитель II Всероссийского литературного конкурса

«Герои Великой Победы» (2016).

Финалист конкурса «Православный причал» (2017).

В журнале «Север» публикуется впервые.

